

Лев Николаевич

Толстой

Посмертные записки старца Федора Кузмича,

умершего 20 января 1864 года в Сибири близ Томска на заимке купца Хромова

(1905 г.)

Государственное издательство

«Художественная литература»

Москва – Ленинград

1936

Электронное издание осуществлено

компаниями ABBYY и WEXLER

в рамках краудсорсингового проекта

«Весь Толстой в один клик»

Организаторы проекта:

Государственный музей Л. Н. Толстого

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Компания ABBYY

Подготовлено на основе электронной копии 36-го тома

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной
Российской государственной библиотекой

Электронное издание

90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого

доступно на портале

www.tolstoy.ru

Предисловие и редакционные пояснения к 36-му тому

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого можно прочитать

в настоящем издании

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам

report@tolstoy.ru

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928–1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы ABBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней

прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая

Перепечатка разрешается безвозмездно.

—

Reproduction libre pour tous les pays.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

1905 Г.

** ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ СТАРЦА ФЕДОРА КУЗМИЧА,

УМЕРШЕГО 20 ЯНВАРЯ 1864 ГОДА В СИБИРИ БЛИЗ ТОМСКА НА ЗАИМКЕ КУПЦА ХРОМОВА.

Еще при жизни старца Федора Кузмича, появившегося в Сибири в 1836 году и прожившего в разных местах 27 лет, ходили про него странные слухи о том, что это скрывающий свое имя и звание, что это не кто иной как император Александр первый; после же смерти его слухи еще более распространились и усилились. И тому, что это был действительно Александр первый, верили не только в народе, но и в высших кругах и даже в царской семье в царствование Александра третьего. Верил этому и историк царствования Александра первого, ученый Шильдер.

Поводом к этим слухам было, во-первых, то, что Александр умер совершенно неожиданно, не болев перед этим никакой серьезной болезнью, во-вторых, то, что умер он вдали от всех в довольно глухом

месте, Таганроге, в-третьих, то, что когда он был положен в гроб, те, кто видели его, говорили, что он так изменился, что нельзя было узнать его и что поэтому его закрыли и никому не показывали, в-четвертых, то, что Александр неоднократно говорил, писал (и особенно часто в последнее время), что он желает только одного: избавиться от своего положения и уйти от мира, в-пятых, обстоятельство мало известное, то, что при протоколе описания тела Александра было сказано, что спина его и ягодицы были багрово-сизо-красные, что никак не могло быть на измененном теле императора.

Что же касается до того, что именно Кузмича считали скрывшимся Александром, то поводом к этому было, во-первых, то, что старец был ростом, сложением и наружностью так похож на императора, что люди (камер-лакеи, признавшие Кузмича Александром), выдавшие Александра и его портреты, находили между ними поразительное сходство, и один и тот же возраст, и та же характерная сутуловатость; во-вторых, то, что Кузмич, выдававший себя за непомнящего родства бродягу, знал иностранные языки и всеми приемами своими величавой ласковости обличал человека, привыкшего к самому высокому положению; в-третьих, то, что старец никогда никому не открыл своего имени и звания, а между тем невольно прорывающимися выражениями выдавал себя за человека, когда-то стоявшего выше всех других людей; и в-четвертых, то, что он перед смертью уничтожил какие-то бумаги, из которых остался один листок с шифрованными странными знаками и инициалами А. и П.; в-пятых, то, что, несмотря на всю набожность, старец никогда не говел. Когда же посетивший его архиерей уговаривал его исполнить долг христианина, старец сказал: «Если бы я на исповеди не сказал про себя правды, небо удивилось бы; если же бы я сказал, кто я, удивилась бы земля».

Все догадки и сомнения эти перестали быть сомнениями и стали достоверностью вследствие найденных записок Кузмича, Записки эти следующие. Начинаются они так:

I.

Спаси Бог бесценного друга Ивана Григорьевича[1] за это восхитительное убежище. Не стою я его доброты и милости Божией. Я здесь спокоен. Народа ходит меньше, и я один с своими преступными воспоминаниями и с Богом. Постараюсь воспользоваться уединением, чтобы подробно описать свою жизнь. Она может быть поучительна людям.

Я родился и прожил сорок семь лет своей жизни среди самых ужасных соблазнов и не только не устоял против них, но упивался ими, соблазнялся и соблазнял других, грешил и заставлял грешить. Но Бог оглянулся на меня. И вся мерзость моей жизни, которую я старался оправдать перед собой и сваливать на других, наконец открылась мне во всем своем ужасе, и Бог помог мне избавиться не от зла – я еще полон его, хотя и борюсь с ним, – но от участия в нем. Какие

душевные муки я пережил и что совершилось в моей душе, когда я понял всю свою греховность и необходимость искупления (не веры в искупление, а настоящего искупления грехов своими страданиями), я расскажу в своем месте. Теперь же опишу только самые действия мои, как я успел уйти из своего положения, оставив вместо своего трупа труп замученного мною до смерти солдата, и приступлю к описанию своей жизни с самого начала.

Бегство мое совершилось так. В Таганроге я жил в том же безумии, в каком жил все эти последние 24 года. Я величайший преступник, убийца отца, убийца сотен тысяч людей на войнах, которых я был причиной, гнусный развратник, злодей, верил тому, что мне про меня говорили, считал себе спасителем Европы, благодетелем человечества, исключительным совершенством, *un heureux hasard*,

[2] как я сказал это *m-me Staël*. Я считал себя таким, но Бог не совсем оставил меня, и недремлющий голос совести не переставая грыз меня. Всё мне было нехорошо, все были виноваты. Один я был хорош, и никто не понимал этого. Я обращался к Богу, молился то православному Богу с Фотием, то католическому, то протестантскому с Парротом, то иллюминатскому с Крюденер, но и к Богу я обращался только перед людьми, чтоб они любовались мною. Я презирал всех людей, а эти-то презренные люди, их мнение только и было для меня важно, только ради его я жил и действовал. Одному мне было ужасно. Еще ужаснее с нею, с женою. Ограниченная, лживая, капризная, злая, чахоточная и вся притворство, она хуже всего отравляла мою жизнь. *Nous étions censés*[3] проживать нашу новую *lune de miel*, [4] а это бы ад в приличных формах, притворный и ужасный.

Один раз мне особенно было гадко, я получил накануне письмо от Аракчеева об убийстве его любовницы. Он описывал мне свое отчаянное горе. И удивительное дело: его постоянная тонкая лесть, не только лесть, но настоящая собачья преданность, начавшаяся еще при отце, когда мы вместе с ним, тайно от бабушки, присягали ему, эта собачья преданность его делала то, что я если любил в последнее время кого из мужчин, то любил его. Хотя и неприлично употреблять это слово «любил», относя его к этому извергу. Связывало меня с ним еще и то, что он не только не участвовал в убийстве отца, как многие другие, которые именно за то, что они были участниками моего преступления, мне были ненавистны. Он не только не участвовал, но был предан моему отцу и предан мне. Впрочем, про это после.

Я спал дурно. Странно сказать, убийство красавицы, злой Настасьи (она была удивительно чувственно красива), вызвало во мне похоть. И я не спал всю ночь. То, что через комнату лежит чахоточная, постылая жена, не нужная мне, злило и еще больше мучало меня. Мучали и воспоминания о Мари (Нарышкиной), бросившей меня для ничтожного дипломата. Видно, и мне и отцу суждено было ревновать к Гагариным. Но я опять увлекаюсь воспоминаниями. Я не спал всю ночь. Стало рассветать. Я поднял гардину, надел свой белый халат и кликнул

камердинера. Все еще спали. Я надел сюртук, штатскую шинель и фуражку и вышел мимо часовых на улицу.

Солнце только что поднималось над морем, был свежий осенний день. На воздухе мне сейчас же стало лучше. Мрачные мысли исчезли, и я пошел к игравшему местами на солнце морю. Не доходя угла с зеленым домом, я услышал с площади барабан и флейту. Я прислушался и понял, что на площади происходила экзекуция: прогоняли сквозь строй. Я, столько раз разрешавший это наказание, ни когда не видал этого зрелища. И странное дело (это, очевидно, было дьявольское влияние), мысли об убитой чувственной красавице Настасье и об рассекаемых шпицрутенами телах солдат сливались в одно раздражающее чувство. Я вспомнил о прогнанных сквозь строй семеновцах и о военнопоселенцах, сотни которых были загнаны на смерть, и мне вдруг пришла странная мысль посмотреть на это зрелище. Так как я был в штатском, я мог это сделать.

Чем ближе я шел, тем явственнее слышалась барабанная дробь и флейта. Я не мог ясно рассмотреть без лорнета своими близорукими глазами, но видел уже ряды солдат и движущуюся между ними высокую, с белой спиной фигуру. Когда же я стал в толпе людей, стоявшей позади рядов и смотревшей на зрелище, я достал лорнет и мог рассмотреть всё, что делалось. Высокий человек с привязанными к штыку обнаженными руками и с голой, кое-где алевшей уже от крови, рассеченной белой сутуловатой спиной шел по улице сквозь строй солдат с палками. Человек этот был я, был мой двойник. Тот же рост, та же сутуловатая спина, та же лысая голова, те же баки, без усов, те же скулы, тот же рот и те же голубые глаза, но рот не улыбающийся, а раскрывающийся и искривляющийся от вскрикиваний при ударах, и глаза не умильные, ласкающие, а страшно выпяченные и то закрывающиеся, то открывающиеся.

Когда я вгляделся в лицо этого человека, я узнал его. Это был Струменский, солдат, левофланговый унтер-офицер 3-й роты Семеновского полка, в свое [время] известный всем гвардейцам по своему сходству со мною. Его шутя называли Александром II.

Я знал, что он был вместе с бунтовавшими семеновцами переведен в гарнизон, и понял, что он, вероятно, здесь в гарнизоне сделал что-нибудь, вероятно, бежал, был пойман и вот наказывался. Как я потом узнал, так это и было.

Я стоял, как заколдованный, глядя на то, как шагал этот несчастный и как его били, и чувствовал, что что-то во мне делается. Но вдруг я заметил, что стоявшие со мной люди, зрители, смотрят на меня, одни сторонятся, другие приближаются. Очевидно, меня узнали. Увидав это, я повернулся и быстро пошел домой. Барабан всё бил, флейта играла; стало быть, казнь всё продолжалась. Главное чувство мое было то, что мне надо было сочувствовать тому, что делалось над этим двойником моим. Если не сочувствовать, то признавать, что делается то, что должно – и я чувствовал, что я не мог. А между тем я чувствовал, что если я не признаю, что это так и должно быть, что это хорошо, то я должен признать, что вся моя жизнь, все мои дела – всё дурно, и мне надо сделать то, что я давно хотел сделать: всё бросить, уйти,

исчезнуть.

Чувство это охватило меня, я боролся с ним, я то признавал, что это так и должно быть, что это печальная необходимость, то признавал, что мне надо было быть на месте этого несчастного. Но, странное дело, мне не жалко было его, и я, вместо того чтобы остановить казнь, только боялся, что меня узнают, и ушел домой.

Скоро перестало быть слышно барабаны, и, вернувшись домой, я как-будто освободился от охватившего меня там чувства, выпил свой чай и принял доклад от Волконского. Потом обычный завтрак, обычные, привычные тяжелые, фальшивые отношения с женой, потом Дибич и доклад, подтверждавший сведения о тайном обществе. В свое время, описывая всю историю своей жизни, опишу, если Богу будет угодно, всё подробно. Теперь же скажу только, что и это я внешним образом принял спокойно. Но это продолжалось только до конца обеда. После обеда я ушел в кабинет, лег на диван и тотчас же заснул.

Едва ли я проспал пять минут, как толчок во всём теле разбудил меня, и я услышал барабанную дробь, флейту, звуки ударов, вскрикивания Струменского и увидел его или себя, я сам не знал, он ли был я, или я был я, увидел его страдающее лицо и безнадежные подергивания и хмурые лица солдат и офицеров. Затмение это продолжалось недолго: я вскочил, застегнул сюртук, надел шляпу и шпагу и вышел, сказав, что пойду гулять.

Я знал, где был военный госпиталь, и прямо пошел туда. Как всегда, все засуетились. Запыхавшись прибежал главный доктор и начальник штаба. Я сказал, что хочу пройти по палатам. Во второй палате я увидел плешивую голову Струменского. Он лежал ничком, положив голову на руки, и жалобно стонал. «Был наказан за побег», доложили мне.

Я сказал: «А!», сделал свой обычный жест того, что слышу и одобряю, и прошел мимо.

На другой день я послал спросить: что Струменский. Мне сказали, что его причастили, и он умирает.

Это был день именин брата Михаила. Был парад и служба. Я сказал, что нездоров после крымской поездки, и не пошел к обедни. Ко мне опять пришел Дибич и докладывал опять о заговоре во 2-й армии, напоминая то, что говорил мне об этом граф Витт еще до крымской поездки, и донесение унтер-офицера Шервуда.

Тут только, слушая доклад Дибича, приписывавшего такую огромную важность этим замыслам заговора, я вдруг почувствовал всё значение и всю силу того переворота, который произошел во мне. Они делают заговор, чтобы изменить образ правления, ввести конституцию, то самое, что я хотел сделать 20 лет тому назад. Я делал и разделял конституции в Европе, и что и кому от этого стало лучше? И главное, кто я, чтобы делать это? Главное было то, что вся внешняя жизнь, всякое устройство внешних дел, всякое участие в них — а уж я ли не участвовал в них и не перестраивал жизнь народов Европы — было не важно, не нужно и не касалось меня. Я вдруг понял, что всё это не

мое дело. Что мое дело – я, моя душа. И все мои прежние желания отречения от престола, тогда с рисовкой, с желанием удивить, опечалить людей, показать им свое величие души, вернулись теперь, но вернулись с новой силой и с полной искренностью, уже не для людей, а только для себя, для души. Как-будто весь этот пройденный мною в светском смысле блестящий круг жизни был пройден только для того, чтобы вернуться к тому юношескому, вызванному раскаянием, желанию уйти от всего, но вернуться без тщеславия, без мысли о славе людской, а для себя, для Бога. Тогда это были неясные желания, теперь это была невозможность продолжать ту же жизнь.

Но как? Не так, чтобы удивить людей, чтобы меня хвалили, а, напротив, надо было уйти так, чтобы никто не знал и чтобы пострадать. И эта мысль так обрадовала, так восхитила меня, что я стал думать о средствах приведения ее в исполнение, все силы своего ума, своей, свойственной мне, хитрости употребил на то, чтобы привести ее в исполнение.

И удивительное дело, исполнение моего намерения оказалось гораздо более легким, чем я ожидал. Намерение мое было такое: притвориться больным, умирающим и, подговорив и подкупив доктора, положить на мое место умирающего Струменского и самому уйти, бежать, скрыв от всех свое имя.

И всё делалось, как бы нарочно, для того, чтобы мое намерение удалось. 9-го я, как нарочно, заболел лихорадкой. Я проболел около недели, во время которой я всё больше и больше укреплялся в своем намерении и обдумывал его. 16-го я встал и чувствовал себя здоровым.

В этот день я, по обыкновению, сел бриться и, задумавшись, сильно обрезался около подбородка. Пошло много крови, мне сделалось дурно, и я упал. Прибежали, подняли меня. Я тотчас же понял, что это может мне пригодиться для исполнения моего намерения, и хотя чувствовал себя хорошо, притворился, что я очень слаб, слег в постель и велел позвать себе помощника Виллие. Виллие не пошел бы на обман, этого же молодого человека я надеялся подкупить. Я открыл ему свое намерение и план исполнения и предложил ему восемьдесят тысяч, если он сделает всё то, что я от него требовал. План мой был такой: Струменский, как я узнал, в это утро был при смерти и должен был кончиться к ночи. Я ложился в постель и, притворившись раздраженным на всех, не допускал к себе никого, кроме подкупленного врача. В эту же ночь врач должен был привезти в ванне тело Струменского и положить его на мое место и объявить о моей неожиданной смерти. И удивительное дело, всё было исполнено так, как мы предполагали. И 17 ноября я был свободен.

Тело Струменского в закрытом гробу похоронили с величайшими почестями. Брат Николай вступил на престол, сослав в каторгу заговорщиков. Я видел потом в Сибири некоторых из них, я же пережил ничтожные в сравнении с моими преступлениями страдания и незаслуженные мною величайшие радости, о которых расскажу в своем месте.

Теперь же, стоя по пояс в гробу, семидесятидвухлетним стариком, понявшим тщету прежней жизни и значительность той жизни, которой я

жил и живу бродягой, постараюсь рассказать повесть моей ужасной жизни.

МОЯ ЖИЗНЬ.

12 декабря 1849.

Сибирская тайга близ Красноречинска.

Сегодня день моего рождения, мне 72 года. Семьдесят два года тому назад я родился в Петербурге, в зимнем дворце, в покоях моей матери императрицы – тогда великой княгини Марьи Федоровны.

Спал я сегодня ночью довольно хорошо. После вчерашнего нездоровья мне стало несколько легче. Главное, прекратилось сонное духовное состояние, возобновилась возможность всей душой обращаться с Богом. Вчера ночью в темноте молился. Ясно сознал свое положение в мире: я – вся моя жизнь – есть нечто нужное Тому, Кто меня послал. И я могу делать это нужное ему и могу не делать. Делая нужное ему, я содействую благу своему и всего мира. Не делая этого, лишаюсь своего блага – не всего блага, а того, которое могло быть моим, но не лишаю мир того блага, которое предназначено ему (миру). То, что я должен бы был сделать, сделают другие. И Его воля будет исполнена. В этом свобода моей воли. Но если Он знает, что будет, если всё определено Им, то нет свободы? Не знаю. Тут предел мысли и начало молитвы, простой, детской и старческой молитвы: «Отче, не моя воля да будет, но Твоя. Помоги мне. Прииди и вселися в ны». Просто: «Господи, прости и помилуй, да, Господи, прости и помилуй, прости и помилуй. Словами не могу сказать, а сердце Ты знаешь, Ты сам в нем».

И я заснул хорошо. Просыпался, как всегда, по старческой слабости раз пять и видел сон о том, что купаюсь в море и плаваю и удивляюсь, как меня вода держит высоко, так, что я совсем не погружаюсь в нее, и вода зеленоватая, красивая, и какие-то люди метают мне, и женщины на берегу, а я нагой, и нельзя выйти. Смысл сновидения тот, что мешает мне еще крепость моего тела, но выход близок.

Встал до рассвета, высек огня и долго не мог зажечь серничка. Надел свой лосиный халат и вышел на улицу. Из-за осыпанных снегом лиственниц и сосен краснела красно-оранжевая заря. Внес вчера наколонные дрова и затопил, и стал еще колоть. Рассвело. Поел размоченных сухарей, печь истопилась, закрыл трубу и сел писать.

Родился я ровно 72 года тому назад, 12 декабря 1777 года в Петербурге, в зимнем дворце. Имя дано мне было, по желанию бабки, Александра, в предзнаменование того, как она сама говорила мне, чтобы я был столь же великим человеком, как Александр Македонский, и

столь же святым, как Александр Невский. Крестили меня через неделю в большой церкви зимнего дворца. Несла меня на глазетовой подушке герцогиня курляндская; покрывало поддерживали высшие чины, крестной матерью была императрица, крестным отцом был император австрийский и король прусский. Комната, в которую поместили меня, была так устроена по плану бабушки. Я ничего этого не помню, но знаю по рассказам.

В обширной комнате этой, с тремя высокими окнами, по середине ее, среди четырех колонн прикреплен к высокому потолку бархатный балдахин с шелковыми занавесами до полу. Под балдахином поставлена кровать железная с кожаным тюфячком, подушечкой и легким английским одеялом. Кругом балдахина балюстрада в два аршина вышины, так, чтобы посетители не могли близко подходить. В комнате никакой мебели, только позади балдахина постель кормилицы. Все подробности моего телесного воспитания были обдуманы бабушкой. Запрещено было меня укачивать, пеленали особенным образом, ноги были без чулок, купали сначала в теплой, потом в холодной воде, одежда была особенная, надевалась сразу, без швов и завязок. Как только я начал ползать, так меня клали на ковер и предоставляли самому себе. Первое время мне рассказывали, что бабушка часто сама садилась на ковер и играла со мной. Я ничего этого не помню, не помню и кормилицу.

Кормилицей моей была жена садовникова молодца, Авдотья Петрова из Царского Села. Я не помню ее. Я увидел ее в первый раз, когда мне было 18 лет и она в Царском подошла ко мне в саду и назвала себя. Было это в то мое хорошее время моей первой дружбы с Чарторижским и искреннего отвращения ко всему тому, что делалось при обоих дворах, как несчастного отца, так и ставшей мне ненавистной тогда бабки. Я был еще человеком тогда, и даже не дурным человеком, с добрыми стремлениями. Я шел с Адамом по парку, когда из боковой аллеи вышла хорошо одетая женщина, с необыкновенно добрым, очень белым, приятным, улыбающимся и взволнованным лицом. Она быстро подошла ко мне и, упав на колени, схватила мою руку и стала целовать ее.

— Батюшка, ваше высочество. Вот когда Бог привел.

— Кто вы?

— Кормилка ваша, Авдотья, Дуняша, одиннадцать месяцев кормила. Привел Бог взглянуть.

Я насилу поднял ее, спросил, где она живет, и обещал зайти к ней.
Милый intérieur

[5] ее чистенького домика; ее милая дочка, совершенная русская красавица, моя молочная сестра, [которая] была невестой берейтора придворного, отец ее, садовник, такой же улыбающийся, как и жена, и куча детей, тоже улыбающихся, все они точно осветили меня в темноте. «Вот настоящая жизнь, настоящее счастье», думал я. «Так всё просто,

ясно, никаких интриг, зависти, ссор».

Так вот эта милая Дуняша и кормила меня. Главной няней моей была немка Софья Ивановна Бенкендорф, а няней англичанка Гесслер. Софья Ивановна Бенкендорф, немка, была толстая, белая, прямоносая женщина, с величественным видом, когда она распоряжалась в детской, и удивительно униженной, низкопоклонной, низкоприседающей при бабушке, которая была на голову ниже ее ростом. Она ко мне относилась особенно раболепно и вместе с тем строго. То она была царицей, в своих широких юбках и [с] своим величественным прямоносым лицом, то вдруг делалась притворяющейся девчонкой.

Прасковья Ивановна (Гесслер), англичанка, была длиннолицая, рыжеватая, всегда серьезная англичанка. Но зато, когда она улыбалась, она расслаивалась вся, и нельзя было удержаться от улыбки. Мне нравилась ее аккуратность, ровность, чистота, твердая мягкость. Мне казалось, что она что-то знает такого, чего не знал никто, ни маменька, ни батюшка, даже сама бабушка.

Мать свою я помню сначала как какое-то странное, печальное, сверхъестественное и прелестное видение. Красивая, нарядная, блестящая бриллиантами, шелком, кружевами и обнаженными полными, белыми руками, она входила в мою комнату и с каким-то странным, чуждым мне, не относящимся ко мне грустным выражением лица ласкала меня, брала на свои сильные, прекрасные руки, подносила к еще более прекрасному лицу, откидывала густые, пахучие волосы, и целовала меня и плакала, и раз даже спустила меня с рук и упала в дурноте.

Странное дело, внушено ли мне это было бабушкой, или таково было обхождение со мною матери, или я детским чутьем проник ту дворцовую интригу, которой я был центром, но у меня не было простого чувства, даже никакого чувства любви к матери. Что-то натянутое чувствовалось в ее обращении ко мне. Она как будто что-то выказывала через меня, забывая меня, и я это чувствовал. Так это и было. Бабка отняла меня от родителей, взяла в свое полное распоряжение для того, чтобы передать мне престол, лишив его ненавидимого ею сына, моего несчастного отца. Я, разумеется, долго ничего не знал этого, но с первых же дней сознания я, не понимая причин, сознавал себя предметом какой-то вражды, соревнования, игрушкой каких-то замыслов и чувствовал холодность и равнодушие к себе, к своей детской душе, не нуждавшейся ни в какой короне, а только в простой любви. И ее-то и не было. Была мать, всегда грустная в моем присутствии. Один раз она, поговорив о чем-то по-немецки с Софьей Ивановной, расплакалась и выбежала почти из комнаты, слышав шаги бабушки. Был отец, который иногда входил в нашу комнату и к которому потом водили меня с братом. Но отец этот, мой несчастный отец, еще больше и решительнее, чем мать, при виде меня выражал свое неудовольствие, сдержанный гнев даже.

Помню, как раз нас с братом Константином привели на их половину. Это было перед отъездом его в путешествие за границу в 1781 году. Он вдруг отстранил меня рукой и с страшными глазами вскочил с кресла и, задыхаясь, заговорил что-то обо мне и бабушке. Я не понял что, но помню слова:

– Après 62 tout est possible...

[6]

Я испугался, заплакал. Матушка взяла меня на руки и стала целовать. И потом поднесла ему. Он быстро благословил меня и, стуча своими высокими каблуками, почти выбежал из комнаты. Уже долго потом я понял значение этого взрыва. Они с матушкой ехали путешествовать под именем Comte и Comtesse du Nord.

[7] Бабушка хотела этого. И он боялся, чтобы в его отсутствие он бы не был объявлен лишенным права на престол и я признан наследником...

Боже мой, Боже мой! И он дорожил тем, что погубило телесно и духовно и его, и меня, и я, несчастный дорожил тем же.

Кто-то стучится, произнося молитву «Во имя отца и сына». Я сказал: «аминь». Уберу писание, пойду отпру. И если Бог велит, буду продолжать завтра.

13 декабря.

Спал мало и видел нехорошие сны: какая-то женщина неприятная, слабая, жметя ко мне, и я не ее боюсь, не греха, а боюсь, что увидит жена. И будут опять упреки. Семьдесят два года, и я всё еще не свободен... Наяву можно себя обманывать, но сновидение дает верную оценку той степени, до которой ты достиг. Видел еще – и это опять подтверждение той низкой степени нравственности, на которой я стою, – что кто-то принес мне здесь во мху конфеты, какие-то необыкновенные конфеты, и мы разобрали их из моха и роздали. Но после раздачи остались еще конфеты, и я выбираю их для себя, а тут мальчик в роде сына турецкого султана, черноглазый, неприятный, тянется к конфетам, берет их в руки, и я отталкиваю его и между тем знаю, что ребенку гораздо свойственнее есть конфеты, чем мне, и всё-таки не даю ему и чувствую к нему недоброе чувство и в то же время знаю, что это дурно.

И странное дело, наяву со мной нынче случилось это самое. Пришла Марья Мартемьяновна. Вчера стучался от нее посол с запросом, может ли она побывать. Я сказал, что можно. Мне тяжелы эти посещения, но я знаю, что ее огорчил бы отказ. И вот нынче она приехала. Полозья издали слышно было, как визжали по снегу. И она, войдя в своей шубе и платках, внесла кульки с гостинцами и такой холод, что я оделся в халат. Она привезла оладей, масла постного и яблок. Она

приехала спросить о дочери. Сватается богатый вдовец. Отдавать ли? Очень мне тяжело это их представление о моей прозорливости. Всё, что я говорю против, они приписывают моему смирению. Я сказал, что всегда говорю, что целомудрие лучше брака, но, по слову Павла, лучше жениться, чем разжигаться. С ней вместе приехал ее зять Никанор Иванович, тот самый, который звал меня поселиться в его доме, и потом не переставая преследовал меня своими посещениями.

Никанор Иванович – это великое для меня искушение. Не могу преодолеть антипатии, отвращения к нему. «Ей, Господи, даруй мне зрети прегрешения моя и не осуждать брата моего». А я вижу все его согрешения, угадываю их с пронизательностью злобы, вижу все его слабости и не могу победить антипатии к нему, к брату моему, к носителю, так же как и я, божественного начала.

Что значат такие чувства? Я в моей долгой жизни не раз испытывал их. Но самые сильные мои две антипатии это были Лудовик XVIII, с его животом, горбатым носом, противными белыми руками, с его самоуверенностью, наглостью, тупостью (вот я сейчас уже начинаю ругать его), и другая антипатия – это Никанор Иванович, который вчера два часа мучал меня. Всё мне, от звука его голоса до волос и ногтей, вызывало во мне отвращение. И я, чтоб объяснить свою мрачность Марье Мартемьяновне, солгал, сказав, что мне нездоровится. После них стал на молитву и после молитвы успокоился. Благодарю Тебя, Господи, за то, что одно, единственное одно, что нужно мне, в моей власти. Вспомнил, что Никанор Иванович был младенцем и будет умирать, тоже вспомнил и о Лудовике XVIII, зная, что он уже умер, и пожалел, что Никанора Ивановича уже не было, чтобы я мог выразить ему мое доброе к нему чувство.

Марья Мартемьяновна привезла много свечей, и я могу писать вечером. Вышел на двор. С левой стороны потухли яркие звезды в удивительном северном сиянии. Как хорошо, как хорошо! Итак, продолжаю.

Отец с матерью уехали в заграничное путешествие, и мы с братом Константином, родившимся два года после меня, перешли на всё время отсутствия родителей в полное распоряжение бабки. Брата назвали Константином в ознаменование того, что он должен был быть греческим императором в Константинополе.

Дети всех любят, особенно тех, которые любят и ласкают их. Бабка ласкала, хвалила меня, и я любил ее, несмотря на отталкивающий меня дурной запах, который, несмотря на духи, всегда стоял около нее; особенно когда она меня брала на колени. И еще неприятны мне были ее руки, чистые, желтоватые, сморщенные, какие-то склизкие, глянцево-блестящие, с пальцами, загибающимися внутрь, и далеко, неестественно оттянутыми, обнаженными ногтями. Глаза у нее были мутные, усталые, почти мертвые, что вместе с улыбающимся беззубым ртом производило тяжелое, но не отталкивающее впечатление. Я приписывал это выражение глаз (о котором вспоминаю теперь с омерзением) ее трудам о своих народах, как мне внушили это, и я жалел ее за это томное выражение глаз. Видел я раза два Потемкина.

Этот кривой, косой, огромный, черный, потный, грязный человек был ужасен. Особенно же ужасен он мне был тем, что он один не боялся бабки и говорил своим трескучим голосом громко при ней и смело, хотя и называл меня высочеством, ласкал и тормошил меня.

Из тех, кого я видел у нее в это мое первое время детства, был еще Ланской. Он всегда был с ней, и все замечали его, все ухаживали за ним. Главное, сама императрица беспрестанно оглядывалась на него. Я не понимал, разумеется, тогда, что такое был Ланской, и он очень нравился мне. Нравилась мне его букли, нравились обтянутые в лосины красивые ляжки и икры, нравилась его веселая, счастливая, беззаботная улыбка и бриллианты, которые повсюду блестели на нем.

Время это было очень веселое. Нас возили в Царское. Мы катались на лодках, копались в саду, гуляли, катались на лошадях. Константин, толстенный, рыженький, un petit Vaschus,

[8] как его называла бабушка, веселил всех своими шутками, смелостью и выдумками. Он всех передразнивал, и Софью Ивановну и даже саму бабушку.

Важным событием за это время была смерть Софьи Ивановны Бенкендорф. Случилось это вечером в Царском, при бабушке. Софья Ивановна только что привела нас после обеда и что-то говорила улыбаясь, как вдруг лицо ее стало серьезно, она зашаталась, прислонилась к двери, скользнула по ней и тяжело упала. Сбежались люди, нас увели. Но на другой день мы узнали, что она умерла. Я долго плакал и скучал и не мог опомниться. Все думали, что я плакал об Софье Ивановне, а я плакал не о ней, а о том, что люди умирают, что есть смерть. Я не мог понять этого, не мог поверить тому, чтобы это была участь всех людей. Помню, что тогда в моей детской пятилетней душе восстали во всем своем значении вопросы о том, что такое смерть, что такое жизнь, кончающаяся смертью. Те главные вопросы, которые стоят перед всеми людьми и на которые мудрые ищут и не находят ответы и легкомысленные стараются отстранить, забыть. Я сделал, как это свойственно ребенку и особенно в том мире, в котором жил; я отстранил от себя эту мысль, забыл про смерть, жил так, как-будто ее нет, и вот дожил до того, что она стала страшна мне.

Другое важное событие в связи с смертью Софьи Ивановны был переход наш в мужские руки и назначение к нам в воспитатели Николая Ивановича Салтыкова. Не того Салтыкова, который, по всем вероятностям, был нашим дедом, а Николая Ивановича, служившего при дворе отца, маленького человечка с огромной головой, глупым лицом и всегдашней гримасой, которую удивительно представлял маленький брат Костя. Переход этот в мужские руки был для меня горем разлучения с милой Прасковьей Ивановной, прежней няней.

Людам, не имевшим несчастья родиться в царской семье, я думаю, трудно представить себе всю ту извращенность взгляда на людей и на

свои отношения к ним, которую испытывали мы, испытывал я. Вместо того естественного ребенку чувства зависимости от взрослых и старших, вместо благодарности за все блага, которыми пользуешься, нам внушалась уверенность в том, что мы особенные существа, которые должны быть не только удовлетворяемы всеми возможными для людей благами, но которые одним своим словом, улыбкой не только расплачиваются за все блага, но награждают и делают людей счастливыми. Правда, от нас требовали учтвого отношения к людям, но я детским чутьем понимал, что это только видимость и что это делается не для них, не для тех, с кем мы должны быть учтивы, а для себя, для того, чтобы еще значительнее было свое величие.

Какой-то торжественный день, и мы едем по Невскому в огромном, высоком ландо: мы два брата и Николай Иванович Салтыков. Мы сидим на первом месте. Два напудренных лакея в красных ливреях стоят сзади. Весенний яркий день. На мне расстегнутый мундир, белый жилетик и по нем голубая андреевская лента, так же одет и Костя, на головах шляпы с перьями, которые мы то и дело снимаем и кланяемся. Народ везде останавливается, кланяется, некоторые бегут за нами. – *On vous salue,* – повторяет Николай Иванович. – *A droite.*

[9] Проезжаем мимо гауптвахты, и выбегает караул.

Этих я всегда вижу. Любовь к солдатам, к военным экзерцициям у меня была с детства. Нам внушали – особенно бабушка, та самая, которая менее всех верила в это, – что все люди равны и что мы должны помнить это. Но я знал, что те, кто говорят так, не верят в это.

Помню, раз Саша Голицын, игравший со мной в бары, толкнул меня и сделал больно.

– Как ты смеешь!

– Я нечаянно. Что за важность!

Я чувствовал, как кровь прилила мне к сердцу от оскорбления и злобы. Я пожаловался Николаю Ивановичу, и мне не было стыдно, когда Голицын просил у меня прощения.

На нынче довольно. Свеча догорает. И надо еще нащепать лучины. А топор туп и наточить нечем, да и не умею.

16 декабря.

Три дня не писал. Был нездоров. Читал Евангелие, но не мог вызвать в себе того понимания его, того общения с Богом, которое испытывал прежде. Прежде много раз думал, что человек не может не желать. Я всегда желал и желаю. Желал прежде победы над Наполеоном, желал умиротворения Европы, желал освобождения себя от короны, и все желания мои или исполнялись и, когда исполнялись, переставали влечь

меня к себе или делались неисполнимы, и я переставал желать. Но пока эти исполнялись или становились неисполнимыми прежние желания, зарождались новые, и так шло и идет до конца. Теперь я желал зимы, она настала, желал уединения, почти достиг этого, теперь желаю описать свою жизнь и сделать это наилучшим образом, так, чтобы принести пользу людям. И если исполнится и если не исполнится, явятся новые желания. Вся жизнь в этом.

И мне пришло в голову, что если вся жизнь в зарождении желаний и радость жизни в исполнении их, то нет ли такого желания, которое свойственно бы было человеку, всякому человеку, всегда, и всегда исполнялось бы или, скорее, приближалось бы к исполнению? И мне ясно стало, что это было бы так для человека, который желал бы смерти. Вся жизнь его была бы приближением к исполнению этого желания; и желание это наверное исполнилось бы.

Сначала это мне показалось странным. Но вдумавшись, я вдруг увидел, что это так и есть, что в этом одном, в приближении к смерти, разумное желание человека. Желание не в смерти, не в самой смерти, а в том движении жизни, которое ведет к смерти. Движение же это есть освобождение от страстей и соблазнов того духовного начала, которое живет в каждом человеке. Я чувствую это теперь, освободившись от большей части того, что скрывало от меня сущность моей души, ее единство с Богом, скрывало от меня Бога. Я пришел к этому бессознательно.

Но если бы я поставил своим высшим благом (а это не только возможно, но так и должно быть), считал бы своим высшим благом освобождение от страстей, приближение к Богу, то всё, что придвигало бы меня к смерти: старость, болезни, было бы исполнением моего единого и главного желания. Это так, и это я чувствую, когда я здоров. Но когда я, как вчера и третьего дня, болею желудком, я не могу вызвать этого чувства и хотя и не противлюсь смерти, не могу желать приближаться к ней. Да, такое состояние есть состояние сна духовного. Надо спокойно ждать.

Продолжаю вчерашнее. То, что я пишу про свое детство, я пишу больше по рассказам, и часто то, что мне про меня рассказывали, перемешивается с тем, что я испытал, так что я не знаю иногда, что я пережил и что слышал от людей.

Жизнь моя, вся, от рождения моего и до самой теперешней старости, напоминает мне местность, всю покрытую густым туманом, или даже после сражения под Дрезденом, когда всё скрыто, ничего не видно, и вдруг тут и там открываются островки, *des éclaircies*,

[10] в которых видишь ни с чем не соединенных людей, предметы, со всех сторон окруженные непроницаемой завесой. Таковы мои детские воспоминания. Эти *éclaircies* в детстве только редко, редко открываются среди бесконечного моря тумана или дыма, потом чаще и

чаще, но даже и теперь у меня есть времена, не оставляющие ничего в воспоминании. В детстве же их чрезвычайно мало, и чем дальше назад, тем меньше.

Я говорил об этих просветах первого времени: смерти Бенкендорфши, прощаньи с родителями, передразниваньи Кости, но и еще несколько воспоминаний того времени теперь, когда я думаю о прошедшем, открываются передо мной. Так, например, я совершенно не помню, когда появился Костя, когда мы стали жить вместе, а между тем живо помню, как мы раз, когда мне было не более семи, а Косте пяти лет, мы после всенощной накануне Рождества пошли спать и, воспользовавшись тем, что все вышли из нашей комнаты, соединились в одной кровати. Костя в одной рубашке перелез ко мне и начал какую-то веселую игру, состоящую в том, чтобы шлепать друг друга по голому телу. И хохотали до боли живота и были очень счастливы, когда вдруг вошел в своем расшитом кафтане с орденами Николай Иванович с своей огромной напудренной головой и, выпучив глаза, бросился на нас и с каким-то ужасом, которого я никак не мог объяснить себе, разогнал нас и гневно обещал наказать нас и пожаловаться бабушке.

Другое памятное мне воспоминание, уже несколько позже – мне было около девяти лет, – это происшедшее у бабушки почти при нас столкновение Алексея Григорьевича Орлова с Потемкиным. Было это незадолго до поездки бабушки в Крым и нашего первого путешествия в Москву. Как обыкновенно, Николай Иванович приводит нас к бабушке. Большая, с лепным и расписным потолком комната полна народом. Бабушка уже причесанная. Волосы ее зачесаны кверху надо лбом и как-то особенно искусно заложены на темени. Она сидит в белом пудроманте перед золотым туалетом. Горничные ее стоят над нею и убирают ее голову. Она улыбаясь смотрит на нас, продолжая говорить с большим, высоким, широким генералом с андреевской лентой и страшно развороченной щекой ото рта до уха. Это Орлов, Le balafré.

[11] Я тут в первый раз видел его. Около бабушки Андерсоны, левретки. Моя любимица Мими вскакивает с подола бабушки и вскакивает на меня лапами и лижет в лицо. Мы подходим к бабушке и целуем ее белую, пухлую руку. Рука переворачивается, и загнутые пальцы ловят меня за лицо и ласкают. Несмотря на духи, я чувствую неприятный бабушкин запах. Но она продолжает глядеть на Balafré и говорит с ним.

– Какоф маладец, – говорит она, указывая на меня. – Вы ишо не витали его, граф? – говорит.

– Молодцы оба, – говорит граф, целуя руку мою и Костину.

– Карашо, карашо, – говорит она горничной, надевающей ей на голову чепец. Горничная эта – Марья Степановна, набеленная, нарумяненная, добродушная женщина, которая всегда ласкает меня.

– Où est ma tabatière?

[12]

Ланский подходит, подает открытую табакерку. Бабушка нюхает и улыбаясь глядит на подходящую шутиху Матрену Даниловну.

Комментарии Н. К. Гудзия

Приводимые в комментарии цитаты из неопубликованных дневников и записных книжек Толстого извлекаются из автографов, хранящихся в Архиве Толстого во Всесоюзной библиотеке имени Ленина и в Государственном Толстовском музее. Выдержки из неопубликованных писем Толстого и к Толстому извлекаются также из автографов, хранящихся в различных рукописных собраниях. Сокращенные ссылки, делаемые при этом, как и в других случаях, означают: АТБ – Архив Толстого во Всесоюзной библиотеке им. Ленина, АЧ – Архив В. Г. Черткова, хранящийся в Государственном Толстовском музее и частично у В. Г. Черткова, ГТМ – Государственный Толстовский музей, ИРЛИ – Институт русской литературы Академии наук СССР.

«ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ СТАРЦА ФЕДОРА КУЗМИЧА».

Повесть о Федоре Кузмиче – Александре I Толстой замыслил задолго до того, как взялся за ее писание. Первое упоминание об этом замысле – в записи записной книжки под 11 февраля 1890 г., где в числе задуманных сюжетов помечен и сюжет об Александре I. Затем в записи Дневника 25 января 1891 г. читаем: «Стал думать, как бы хорошо писать теперь роман de longue haleine, [13] освещая его теперешним взглядом на вещи. И подумал, что я бы мог соединить в нем свои мысли, о неисполнении которых я жалею, всё, за исключением Александра I и солдата». 10 июля 1891 г. А. А. Толстая, посылая Льву Николаевичу карточку старца Федора Кузмича, писала ему: «Посылаю дорогому Льву героя его будущей легенды. Он так хорошо ее рассказал, что я заранее предвкушаю наслаждение, которое ожидает нас, если он осуществит свое намерение» (АТБ). А. А. Толстая была перед этим в Ясной поляне с 1 по 7 июля 1891 г., и, очевидно, в это время она

услышала от Толстого рассказанный им первоначальный замысел легенды. В ответ на это письмо Толстой писал ей 16 июля 1891 г.: «Очень благодарен за карточку. Она очень поощряет к работе. Если бы Бог велел, хотелось бы попробовать написать».[14] Однако в ближайшие годы к работе над легендой Толстой не приступал. Судя по свидетельству П. И. Бирюкова (Биография Толстого, т. III, М. 1922, стр. 229), в конце января 1894 г. Толстой вновь рассказывал легенду о Федоре Кузмиче, которую со слов Толстого Бирюков записал (эта запись нам неизвестна). Ближайшее упоминание после этого о повести на сюжет об Александре I – 12 марта 1895 г., когда в числе других произведений, которые «хорошо бы все докончить», называется и «Александр I». 14 июля того же года Толстой заносит в записную книжку следующую заметку, относящуюся к сюжету повести: «Солдата убили вместо него, он тогда опомнился». Через полтора слишком года после этого, в дневниковой записи 13 декабря 1897 г., Толстой в числе других сюжетов, которые стоит и можно обработать как должно, называет и сюжет об Александре I.

Через четыре года, 26 октября 1901 года, он беседовал в Гаспре с вел. кн. Николаем Михайловичем по поводу Александра I и старца Федора Кузмича. Об этой беседе Николай Михайлович записал следующее: «На счет импер. Александра I толковали мы много, и гр. Толстой говорил, что давно ему хотелось написать кое-что по поводу легенды, что Александр кончил свое поприще в Сибири в образе старца Федора Кузмича. Хотя пока еще легенда эта не подтверждается и, напротив того, много данных против нее, но Л. Н. интересуется душа Александра I, столь оригинальная, сложная, двуличная, и Толстой добавляет, что если только Александр I действительно кончил свою жизнь отшельником, то искупление, вероятно, было полное, и соглашается с Н. К. Шильдером, что фигура вышла бы шекспировская».

[15]

На особом листке, датированном 1903 г., в числе тем, предположенных для писания, отмечен и «Александр I».

[16] В листках из записной книжки 1904 г. записаны сюжеты, предназначенные для недельных чтений «Круга чтения» и в числе их сюжет об Александре – Кузмиче.

К работе над легендой Толстой приступил лишь в конце 1905 г. Он занялся чтением литературы об Александре I и попутно о Павле, главным образом, трудов об обоих императорах историка Н. К. Шильдера. 6 октября этого года Толстой записывает в Дневник: «КОНЧИЛ «Конец века» и читал с отметками Александра I. Уж очень слабое и

путанное существо. Не знаю, возьмусь ли за работу о нем. В записной книжке 1905 г. Толстым записан подробный конспект сочинений об Александре I Н. К. Шильдера (всех четырех томов), а также записок Чарторыжского.

5 октября, в письме к А. Ф. Кони, он пишет: «Я теперь занят Александром I. Не знаете ли, есть ли в продаже мемуары Эд. Стурдзы?».

[17] 12 октября в Дневник заносится такая запись: «Федор Кузмич всё больше и больше захватывает. Читал Павла. Какой предмет! Удивительный!» 15 октября Толстой пишет дочери Марье Львовне Оболенской: «Читал историю Александра I и делал планы писания» (ГТМ). Однако работа над повестью всё еще не была начата: время было занято поправками и дополнениями к «Концу века» и началом работы над «Обращением к правительству, революционерам и народу», и только 22 ноября Толстой отмечает в Дневнике, что «начал Александра I», но тут же добавляет, что отвлекся «Тремя неправдами», и продолжает: «очень хочется писать Александра I. Читал Павла и декабристов. Очень живо воображаю». В декабре работа над «Посмертными записками» шла лишь спорадически, прерываясь работами над «Божеским и человеческим», «Концом века», «Зеленой палочкой», «Обращением к правительству, революционерам и народу». За этот месяц в связи с «Посмертными записками» в Дневнике сделаны следующие записи. 9 декабря: «Вчера продолжал Александра I». 16 декабря: «Писал немного Александра I, но плохо». 18 декабря: «Нынче начал писать Александра I, но плохо, неохотно». Наконец, 27 декабря: «Еще удачнее пришла характеристика Александра I, если удастся довести хотя до половины. То, что он искренно, всей душой хочет быть добрым, нравственным и всей душой хочет царствовать во что бы то ни стало. Показать свойственную всем людям двойственность иногда прямо противоположных направлений».

Это последняя дневниковая запись Толстого, относящаяся к «Посмертным запискам». Работа над повестью была прервана, видимо, задолго до ее окончания. Судя по тому чтению, каким занялся Толстой в процессе работы над нею, в ней должны были занять видное место и Павел I и декабристы. 2 сентября 1907 г., благодаря вел. кн. Николая Михайловича за присылку вышедшей в этом году его книги «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири, в образе старца Федора Козмича», в которой автор опроверг тожество Александра и легендарного старца, Толстой писал ему: «Пускай исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Козмича, легенда остается во всей своей красоте и истинности. Я начал было писать на эту тему, но едва ли удосужусь продолжать. Некогда, надо укладываться к предстоящему переходу. А очень жалко. Прелестный образ».

[18]

К «Запискам Федора Кузмича» относятся следующие рукописи, хранящиеся в ИРЛИ (шифр. 22. 5. 18).

1. Автограф на 11 полулистах большого почтового формата. Первые три полулиста и последний исписаны с одной стороны, остальные – с обеих. Вслед за заглавием «Посмертные записки старца Федора Кузмича» начало: «Еще при жизни старца Федора Кузмича». Конец: «глядить на подходящую шутиху Матрену Даниловну». В автографе сравнительно мало исправлений и зачеркнутых мест, и они не представляют собой сколько-нибудь важных разночтений. Целиком зачеркнут поперечной чертой лишь один абзац, следующий за словами «крестным отцом был император австрийский и король прусский», стр. 66, строки 18–19:

Сижу я на лавѣ передь сосновымъ столикомъ. На столѣ распятіе, евангеліе, псалтирь, моя тетрадь и баночка съ чернилами, перочинный ножъ – подарокъ игуменьи – и гусинья перья. На стѣнѣ висить лосинный халатъ. Окно замерзло. На дворѣ, должно быть, градусовъ 40. Я только что накололъ дровъ на завтра и согрѣл[ся]. Ноги теплыя въ валенкахъ, но руки трясутся отъ работы и не могутъ хорошенько очинить перо. Благодарю Бога, что близорукіе глаза до сихъ поръ хорошо видять вблизи. На дворѣ тихо, только изрѣдка отъ мороза трещать деревья.

2. Рукопись, состоящая из шести четвертушек, четырех полос – долей четвертушек и одного согнутого пополам полулиста писчей бумаги. Большая часть рукописи написана с одной стороны на пишущей машинке и включает в себе много поправок рукой Толстого. Всё это отдельные части копии автографа, которые, в виду того что они подверглись усиленной авторской правке, были затем переписаны еще раз. На отдельной четвертушке рукой Толстого, написана большая вставка, дополняющая автограф после слов «крестным отцом был император австрийский и король прусский». («Комната, в которую поместили меня... не помню и кормилицу) Вторая вставка, после слов «чтобы еще значительнее было свое величие», стр. 71, строка 36 («Какой то торжественный день... не верят в это»), сделана Толстым на оставшейся недописанной первой странице полулиста и на большей части чистой второй страницы, и, наконец, третья вставка («16 декабря. Три дня не писал... надо спокойно ждать»), – стр. 72, строка 15 – стр. 73, строка 10, сделана в конце второй страницы, на третьей и на четвертой страницах того же полулиста.

После слов «бежать, скрыв от всех свое имя», стр. 64, строки 29–30, зачеркнут следующий абзац, переписанный с автографа и предварительно исправленный:

Съ 8 ноября начались мои обманы и приготовления. Въ этотъ день, въ два часа, стало такъ темно, что я зажегъ свѣчи. Анисимовъ, войдя въ комнату, поспѣшно затушилъ свѣчи. Когда я спросилъ, зачѣмъ онъ это дѣлаеть, онъ сказалъ, что это дурная примѣта, что если днемъ горять

свѣчи, значить къ покойнику. Я воспользовался этимъ и много разъ и всѣмъ дѣлалъ намеки о томъ, что у меня есть предчувствіе скорой смерти.

Этот абзац был зачеркнут сначала поперечной чертой, затем проведенной по ней волнистой вновь восстановлен, затем окончательно зачеркнут по строкам продольными чертами.

После слов «которую испытывали мы, испытывал я», стр. 71, строки 25–26, зачеркнуты следующие слова, переписанные с автографа:

Гордость, сознание своего величія, снисходительное отношеніе къ людямъ съ дѣтства вкореняются въ душу.

И какъ не ошалѣть, когда на тебя надѣвають ленту черезъ плечо, высшій знакъ награды, когда при твоёмъ проѣздѣ всѣ снимаютъ шапки, а солдаты отдають честь, когда ты видишь, что старые люди счастливы, если ты скажешь имъ ласковое слово.

Что касается исправлений, сделанных Толстым, то они приближают текст копии к последней редакции «Посмертных записок».

3. Рукопись, написанная с одной стороны на пишущей машинке на согнутых пополам полулистах и четвертушках, часть которых склеена из двух полос (всего 37 четвертушек) с поправками рукой Толстого. Копия, не всегда исправная, автографа и рукописи, описанной под № 2. Последняя по времени редакция незаконченной повести. Текст сплошной. К третьему абзацу вступления добавлен конец, не находящий себе соответствия ни в автографе, ни в какой-либо сохранившейся вставке («в пятых, то, что, несмотря на всю набожность... удивилась бы земля»). Важнейшие исправления сводятся к следующему. После слов «гнусный развратник», стр. 61, строка 2, зачеркнуто:

другъ Аракчеева, грубаго льстеца и величайшаго злодѣя и вместо этого написано «злодѣй».

После слов: «я достал лорнет», стр. 62, строка 20, зачеркнуто:

Взглянулъ и чуть не упалъ отъ охватившаго меня ужаса и вместо этого написано: «и мы рассмотрѣли все, что дѣлалось». После слов: «и страшно выпяченные и то закрывающіеся, то открывающіеся», стр. 62, строки 28–29, фраза:

Когда я немного опомнился и успокоился, я узналъ этого человѣка и понималъ, что это такое

исправлена так: «Когда я взглянулъ въ лицо этого человѣка, я узналъ его».

После слов: «никаких интриг, зависти, ссор», стр. 67, строка 14, зачеркнуто:

Вспоминаю теперь все, что она пережила со мной въ эти 11 мѣсяцевъ.

Она отдала мнѣ лучшія свои силы, а мы дали ей кокошники, сарафаны, деньги и считали себя расквитавшимися.

После слов «ни маменька, ни бабушка, даже сама бабушка», стр. 67, строки 30–31, зачеркнуто:

Бабушка казалась мнѣ верхом совершенства. Одно мое желаніе было быть такимъ же, какъ она. Меня огорчало то, что я не былъ женщина.

После слов «но не отталкивающее впечатлѣніе», стр. 70, строка 18, зачеркнуто:

Ее окружало такое поклоненіе, обожаніе, что

В трехтомное издание посмертных художественных произведений Толстого, вышедших в России в 1911–1912 гг. под редакцией В. Г. Черткова, «Посмертные записки Федора Кузмича» по цензурным соображениям не вошли. Полностью они напечатаны, но с ошибками, в III томе заграничного издания («Свободного слова») посмертных произведений в 1912 г.

[19] В том же году, в февральской книжке «Русского богатства», они напечатаны со следующими купюрами. После слов «оставив вместо своего трупа труп замученного», стр. 60, строки 35–36, исключено «мною». После слов «Я величайший преступник», стр. 60, строка 39 – стр. 61, строка 3, исключено «убийца отца, убийца сотен тысяч людей на войнах, которых я был причиной, гнусный развратник, злодей». После слов «что они были участниками», стр. 61, строка 30, исключены слова «моего преступления». После слов «Я приписывал это выражение глаз», стр. 70, строки 18–19, исключено: «(о котором вспоминаю теперь с омерзением)». Наконец, после слов «не того Салтыкова, который, по всем вероятностям» был», стр. 71, строки 16–17, исключены слова «нашим дедом».

Но книжка с произведением Толстого была задержана цензурой. Судебная палата утвердила арест и разрешила выпустить книгу лишь после исключения следующего абзаца: «Людам, не имевшим несчастья родиться в царской семье... чтобы еще значительнее было свое величие», стр. 71, строки 23–36. Редактор «Русского богатства» В. Г. Короленко был предан суду судебной палаты с участием сословных представителей по обвинению «в дерзостном неуважении к верховной власти». 27 ноября 1912 г. состоялся суд, которым Короленко был оправдан, и арест о книжки «Русского богатства» с повестью Толстого снят. Но не дождавшись решения суда, целый ряд издательств, в том числе и «Посредник», выпустили «Посмертные записки Федора Кузмича» с теми купюрами, которые сделаны были в «Русском богатстве», присоединив к ним абзац, исключенный по первоначальному постановлению судебной палаты. (Судебный процесс редактора «Русского богатства», речи прокурора, защитника О. О. Грузенберга и Короленко изложены в 12-й книжке «Русского богатства» за 1912 г. и перепечатаны вместе с

повестью Толстого, статьей Короленко «Герой повести Л. Н. Толстого» и примечаниями В. Г. Черткова в отдельной брошюре, изданной в 1913 г. редакцией «Русского богатства».)

Впервые в России полностью «Посмертные записки Федора Кузмича» были напечатаны в 1918 г., в Москве, без указания года и издательства, в книжке «I. Хаджи Мурат. II. Посмертные записки старца Федора Кузмича. Полное, без пропусков, издание» (перепечатка издания «Свободного слова»),

В вышедшем в 1930 г. пятнадцатом томе «Полного собрания художественных произведений Толстого», издание Государственного издательства, текст заново проверен по рукописям, и значительная часть ошибок текста берлинского издания в нем устранена.

В настоящем издании «Посмертные записки Федора Кузмича» печатаются по исправленной Толстым копии и по автографам.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРИДЦАТЬ ШЕСТОМУ ТОМУ.

В настоящий том входят произведения, написанные Толстым в период 1904–1906 гг. Художественные произведения, напечатанные в этом томе, не только не получили окончательной авторской отделки, как и все так называемые «посмертные произведения», но и в большей своей части (три из пяти) не закончены. Печатаются они однако, в согласии с принятым в этом издании порядком, в начале тома, перед законченными статьями, по новой орфографии, но тем набором (корпусом без шпон), которым печатаются незаконченные, неотделанные и неопубликованные при жизни произведения Толстого. Впервые публикуются здесь две до сих пор не опубликованные статьи Толстого – «Как и зачем жить?» и «Три неправды», а также варианты из черновых рукописей к произведениям, ранее опубликованным.

Указатель собственных имен составлен В. С. Мишиным

Н. Гудзий.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ТРИДЦАТЬ ШЕСТОМУ ТОМУ.

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Толстого, а также тексты

посмертных художественных произведений, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв во всех, без каких-либо исключений, случаях, когда в воспроизводимом тексте Толстого стоит большая буква, и начертаний до-гrotовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Толстого и лиц его круга («брычка», «цаловать»).

При воспроизведении текстов статей и незаконченных черновых редакций и вариантов художественных произведений, непечатавшихся при жизни Толстого, соблюдаются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого», «тетенька» и «тетинька»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, дополняются в прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимения «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это ударение не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.

Неполно написанные конечные буквы (как, напр., крючок вниз вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «аббревиатуры») типа «к-ый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью; причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ]» – лишь, в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводятся.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?]

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1 неразобр.] или [2 неразобр.], где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что

редактор признает важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест–на–крест и т. п., воспроизводятся не в сноске, а в самом тексте, и ставятся в ломаных < > скобках; но в отдельных случаях допускается воспроизведение в ломаных скобках в тексте, а не в сноске, в одного или нескольких зачеркнутых слов.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое воспроизводится курсивом, дважды подчеркнутое – курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации соблюдаются следующие правила: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного написания); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки препинания в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении многоточий Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях – с оговоркой в сноске: Абзац редактора.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [] скобках.

Пометы: *, **, ***, **** в оглавлении томов, на шмуц–титулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают: * – что печатается впервые, ** – что напечатано после смерти Толстого, *** – что

не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и **** – что ранее печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Фототипия портрета Толстого 1905 г. – между XII и 1 стр. стр.

Примечания

1

Иван Григорьевич Латышев – это крестьянин села Краснореченского, с которым Федор Кузмич познакомился и сошелся в 39 году и который после разных перемен места жительства построил для Кузмича в стороне от дороги, в горе, над обрывом в лесу келью. В этой келье начал Кузмич свои записки.

2

[счастливой случайностью,]

3

[Мы предполагали]

4

[медовый месяц,]

5

[обстановка]

6

[– После 1762 года всё возможно...]

7

[граф и графиня Северные.]

8

[маленький Вакх,]

9

[– Вас приветствуют. Направо.]

10

[просветы,]

11

[человек со шрамом.]

12

[– Где моя табакерка?]

13

[длинный, большой,]

14

«Толстовский Музей», Том. I. Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. 1857–1903. Спб. 1911, стр. 368.

15

«Красный архив», 1927, 2 (21), стр. 233.

16

«Русские пропилеи». 2. Собрал и приготовил к печати М. Гершензон. М. 1916, стр. 351.

17

Письма Л. Н. Толстого. Собр. и ред. П. А. Сергеенко. Т. II, М. 1911, стр. 224.

18

Новый сборник писем Л. Н. Толстого. Собрал П. А. Сергеенко. Под редакцией А. Е. Грузинского. М. 1912, стр. 320.

19

Всюду напечатано Кузьмича вместо Кузмича; после слов шел по улице стр. 62, строка 23, пропущено сквозь строй; вместо Витт, стр. 63, строка 42, напечатано Витте, вместо донесений, стр. 66, строка 42, – донесение; вместо Виллие, стр. 64, строка 42, – «Вимие»; вместо «моей ужасной жизни», стр. 65, строка – 15, своей старой жизни; вместо Я не помню, стр. 66, строка 39, – Я не помнил после слов с необыкновенно добрым, стр. 66, строки 47–48, пропущены слова «очень белым; вместо поселиться в его доме, стр. 72, строка 22, напечатано поселиться в его дом; вместо «Лудовик» в обоих случаях Людовик; вместо Но пока эти исполнялись, стр. 72, строки 24–25, – Но пока исполнялись»: вместо Я тут стр. 74, строка 11, – И тут, и еще несколько более мелких погрешностей.